

H. P. ...

Константин Михайлович Станюкович

Ледяной шторм

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 28 марта 2003 года

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139327

Станюкович К.М. Собр.соч. в 10 томах. Том 9: издательство

«Правда»; Москва; 1977

Содержание

I	4
II	9
III	15
IV	24
V	29
VI	34
VII	39
VIII	46
IX	59
X	65
XI	69
XII	71
XIII	74

Константин Михайлович Станюкович Ледяной шторм

Посвящается А.В.Вергежскому¹

I

Яйла ² “курила” и сверкала под блеском южного солнца своими белоснежными гребнями, расщелинами и склонами.

Срывая и крутя алмазную пыль, порывы горного ветра налетали с бешеной силой все чаще и чаще и так пронизывали своим ледяным дыханием, что напоминали близость не Черного моря, а Ледовитого океана.

Ветер дул и с гор, и с моря, и, казалось, с самого неба, подернутого бирюзой, по которому величаво и словно бы лениво поднималось ослепительное солнце, появившись из-за гор.

Над ними неслись нежно-белые перистые облачка, а на противоположном горизонте, над морем, надви-

² Яйла – название главной (южной) гряды Крымских гор.

гались черные, тяжелые и нависшие тучи и точно грозили приближением шторма.

И, чуя его, бакланы и чайки тревожно, короткими концами, носились низко над волнами, как будто скользя по ним.

И белые как снег чайки словно бы предостерегали друг друга своим грустным криком, похожим на плач обиженного ребенка.

В маленькой открытой гавани Ялты, у набережной, трепыхались, прыгая на своих якорьках, зимовавшие каботажные суденышки.

Этот десяток маленьких бригантинок и шкунок допотопной конструкции не внушал большого доверия. По-видимому, не особенно доверяют им и господа шкипера – из отставных боцманов военного флота или “из греков” – и не плавают на своих “каботажках” в зимнюю пору, когда Черное море задает “форменные трепки”, от которых не спасет моряков даже заступничество св. Николая Мирликийского³. Да и тихое, оно на долгое время заволакивается таким густым туманом, что здешние шкипера, умеющие плавать только “на глаз”, вблизи знакомых берегов, и не имеющие понятия о прокладке курса по карте и о компасе, знают, что легко вместо Феодосии попасть в Одессу, а то и

³ Николай Мирликийский (IV в.) – христианский святой, архиепископ города Мир в Ликии. Считался покровителем мореплавателей.

в Константинополь.

Ошвартовавшийся у мола, раскачивался пассажирско-грузовой “Баклан”, только что пришедший из Севастополя. Выпущенные пары прогудели о приходе. Ветер подхватывал черные клубы дыма из горластой трубы. Несколько палубных пассажиров в порты Кавказа вышли на берег, чтобы купить кое-чего и попробовать твердой земли после сильной качки на пароходе... А что еще будет впереди?..

Крепчалю.

Волны взбухали и “разгуливались”. Сталкиваясь между собою, гребни пенились с сердитым воем, и ветер подвывал волнам, срывая верхушки “зайчиков” и разнося брызги.

Море вблизи седело и становилось сердитей.

А вдали, совсем вдали, оно казалось холмистым, темным, таинственно-грозным и жутким.

Прибой гудел.

Особенно был высок подъем столба воды у волнореза мола.

Эта, суженная сверху, прибойная волна взлетала с бешеной стремительностью на высоту тридцати футов, почти вертикально... Еще мгновение – и, рокошущая и обессиленная, она низвергалась, сливаясь с широкими волнами. Через несколько секунд взлетала следующая могучая и бушующая волна.

Кучка людей уже пришла на мол.

Грузчики подавали тюки и ящики к лебедке, поворачивающейся с парохода к пристани. Несколько зрителей из “серой” публики напряженно и испуганно взглядывали то на море, то на пароход, словно бы изумляясь и сожалея людей, которые пойдут на “Баклане”, казавшемся скорлупой перед взволнованным, вздувшимся морем.

Были и “господа”.

В отдалении от стенки, чтобы не получить ледяной ванны, они любовались высоким и грозным прибоем, и бессмысленная его сила невольно наводила почтительный страх.

Какой-то художник с подстриженной бородкой, худощавый, молодившийся старик, быстро, размашисто и самоуверенно писал масляными красками эскизы прибойной волны. Но неуловимо характерный, трепетавший жизнью, грозный, красивый и, казалось, каждое мгновение менявший и цвет, и мощь, и прозрачность воды, прибой едва ли был почувствован художником.

В выражении его изжитого и скептического лица виден был ум, но “бога” в нем не было.

И он, ловя натуру, в то же время взглядывал на молодую, красивую и изящно одетую девушку, стоявшую от него в двух шагах с пожилой дамой. Обе восхища-

лись и ужасались прибоем, не обращая ни малейшего внимания на художника.

Зато дамы невольно заглядывались на пригожего, белокурого студента с худощавым и одухотворенным лицом и необыкновенно мягкими и “чистыми” голубыми глазами. Возбужденный и зарумянившийся на стуже, он озабоченно расставлял фотографический аппарат, чтоб снять в разных видах прибой, производший сильное впечатление.

II

Один из “серых” зрителей, обращавших исключительное внимание на сравнительно небольшой, низко нагруженный пароход, молодой человек с болезненным и напряженно-встревоженным лицом, лихорадочными и угрюмо-насмешливыми глазами, с жидкой черной бородкой и маленькими усиками над тонкой бескровной губой, – по-видимому, находился в отчаянно скверном положении.

По крайней мере костюм его далеко не соответствовал собачьему холоду в Ялте, побаловавшей еще вчера чудной, теплой погодой.

Летнее “легкомысленное” пальтецо, тонкое и протертое на локтях, настолько выцвело, что определить его цвет было трудно. Дырявые и стоптанные ботинки обнажали голые грязные пальцы. Легонькая фуражка, когда-то модная, очевидно, попавшая с большой головы, была с вентиляцией... Одним словом, вся одежда несомненно плохо защищала молодого человека, пронизываемого ледяным норд-остом.

Только шерстяной шарф, в который он прятал нос, представлял собою лучшую и основательную часть костюма и, казалось, именно он и придавал некоторый апломб всей этой худенькой, бессильной и вздра-

гивающей фигурке. И молодой человек носил свое рванье с таким же достоинством, с каким сытые люди носят свое хорошо сшитое платье.

Молодой “зритель” пылливо смотрел на пароход и не без зависти думал о солидно одетых матросах, работавших на лебедке, и о теплом помещении на кубрике. Да и у машины было тепло...

И, несмотря на грохочущий в конце мола прибой, на гул вздымающегося моря и на вой ветра, молодой человек, словно бы озаренный вдруг решением, обратился к одному из грузчиков. Он показался молодому человеку умнее и симпатичнее других, этот пожилой здоровый брюнет, обросший сильно заседевшими бородой и усами. Он только что спустил с широкой сутулой спины изрядный ящик и, остановившись в нескольких шагах от парохода, ловко закурил на ветре папироску.

– Пойдет в “рейц”, господин рабочий?

И, приложив к козырьку засиневшие пальцы, молодой человек махнул головой на пароход.

– Пойдет! – обрывисто и далеко не любезно ответил грузчик.

– В такого-то дьявола-шторм?

– Капитан знает, коли идет! – строго и авторитетно промолвил грузчик и отвернулся.

– Разве по воле пойдет в бурю?

– Отстоялся бы здесь, если б хотел.

– Может, и очень бы хотел, да службы решиться не смеет...

– А ты знаешь, что ли? – резко спросил грузчик.

– То-то знаю... Небось, ваши шишки, главные, значит, начальники в страхе капитанов держат... Лестно, мол... Я, такой-сякой, захочу – прогнал с места, захочу – оставил... Им ведь, вашим начальствам “обормотам”, сиди на сухом пути да жри хороший харч с мадерой вином, а вот ихние подначальные капитаны, по опаске и глупости, хоть сам потопай да матросов топи!.. Они и виноватые останутся... А управляющие, мол, не при чем... Очень просто... И ежели в тебе есть понятие, то обмозгуешь, что везде одна и та же идет линия... Все, что по своему месту или по капиталу над людьми куражатся, – одно слово, озверелые свиньи и сволочь! – прибавил с злой насмешкой молодой босяк.

И эта неожиданно дерзкая речь, не совсем понятная грузчику, который никогда и не думал о людской неправде, хотя, быть может, и чувствовал ее своими боками, и оборванный вид этого босяка, видимо, дошедшего до точки, – вызвали в грузчике неодобрительные чувства к оратору.

И он, основательный и домовитый семейный человек, тепло одетый и хорошо напившийся чаю с хлебом

в своем маленьком домишке в слободке, купленном на деньги жены, неизвестно как добытые ею, – строго взглянул на бездомного босяка и ничего не проговорил.

Однако, заинтересованный этим оборванцем с такой дерзкой “фанаберией”, не уходил.

А молодой оборванец неожиданно сказал:

– А если капитана этого парохода спросить... не возьмет ли он матросом?

– Это кого взять матросом? – удивленно спросил грузчик.

– Меня.

– Тебя!?. Такого... господина?

И грузчик рассмеялся.

Но оборванец, казалось, не обратил внимания на презрение в смехе этого сильного и здорового человека к слабосильному, нищему и самоуверенному проходимцу. И он спокойно ответил:

– То-то такого господина... Сию минуту нанялся бы. Бури не боюсь...

– Ты хоть и отчаянный господин, но капитану не требуются матросы. Да тебя, все равно, не возьмут... То же лодырь, объявился матрос!..

– Правильно рассудил, сытый грузчик!.. А ежели, например, наняться грузчиком на пристани, а то носильщиком?..

– Проваливай лучше... Замерзнешь в своем легком кустюме!

– А я полагал, по тому самому ты и порекомендуешь меня на должность!.. – с резкой и угрюмой иронией проговорил молодой человек.

– Другой должности ищи... А пока что... оденься.

И с этими словами грузчик торопливо отошел, испытывая какую-то неловкость, вроде виновности, перед этим вздрагивающим босяком с чахоточным лицом.

– Сволочи! – негодуяще бросил искатель занятий, два месяца тому назад приехавший из Керчи, где был, по болезни, рассчитан с табачной фабрики и со штрафом за дерзкие слова управляющему.

Замерзнувший от ледяного ветра, молодой человек почти побежал с мола и направился в “матросскую слободку”, где жил у старой квартирной хозяйки, ялтинской мещанки, которой платил три рубля в месяц за крошечную конуру, без отопления, разумеется.

Ни у кого из встречных, шедших к молу – посмотреть на прибой и на пароход, собирающийся уходить в бурю, – он не решился попросить гривенника, чтобы купить десяток папирос и выпить в кофейне стакан горячего чая.

Уже два месяца он напрасно искал работы и продал все, что было возможно, чтобы не умереть с голода.

Вчерашний день он не ел.



Ветер усиливался с быстротой. Барометр падал.

Прибой у мола взлетал выше и рокотал грознее.

Нагрузка парохода приходила к концу после того, как несколько бочек и ящиков были выгружены.

Был одиннадцатый час утра.

Капитан парохода, спавший лишь часа два на переходе из Севастополя в Ялту, встревоженный, озабоченный и не выспавшийся, торопливо напился чаю с свежими булками и вышел из своей каюты на палубу.

Взглянув на собравшуюся у пристани преимущественно серую публику, испуганную и по временам выражавшую опасения, он, казалось, спокойно и уверенно приказал старшему помощнику поторапливать нагрузку и, поднявшись на мостик, стал смотреть на далекий горизонт чернеющего моря и на зловещие темные тучи, клочковатые и низкие...

Но горькие думы поднимались в душе этого, по-видимому, хладнокровного и сдержанного капитана.

Это был низенький и кряжистый человек с крупными, грубыми и добродушными чертами обветрившегося, красного и напряженно-серьезного лица.

Никифору Андреевичу Москалеву далеко за пятьдесят.

Здоровый крепыш, он был очень неказист, морщинист и с седою, как лунь, бородой. Его неладно скроенная фигура была гибка, поступь легка, и его маленькие, воспаленные от бессонной ночи и возбужденные серые глаза еще горели молодым блеском.

Он был в стареньком, сильно потертом пальто, подбитом густым и крупным крымским бараном, с мерлушечьим воротником и в высоких смазных сапогах. Изпод форменной фуражки с толстым потемневшим золотым галуном на околыше выбивались сильно поседевшие русые волосы.

Капитан впился в даль моря и тяжело вздохнул.

Штормяга будет серьезная, и он его встретит.

Мысли наводили страх на старого моряка, давно плававшего по Черному морю. Сперва он ходил здесь на военных судах молодым штурманским офицером, потом на коммерческих пароходах, когда оставил военную службу, всегда мачеху для штурманов – этих обойденных, обиженных и обозленных пасынков морской семьи ⁴.

О, как хотелось ему быть теперь в Севастополе и там пережить шторм, вместо того, чтобы идти в мо-

⁴ ...штурманов —этих обойденных, обиженных и обозленных пасынков морской семьи. – О враждебном отношении флотских офицеров к “штурманам, механикам и артиллеристам”, “развившемся на почве сословных привилегий и предрассудков”, см. прим. автора к рассказу “Мрачный штурман”

ре.

И зачем он пошел из Севастополя? Зачем?

Капитан понимал: зачем. Он малодушно боялся выговора. Начальство подумает, что он струсил. Шторма еще не было в Севастополе. Но ветер уже крепчал, и волнение разводило большое. Следовало бы остаться.

Пожалуй, и промело бы.

Никифор Андреевич служил в коммерческом флоте двадцать семь лет и пятнадцать последних командует пароходами. Он дорожил местами и смолоду привык к неодолимому, чисто рабьему страху перед людьми, от которых зависела его судьба. Боялся, хотя бы не уважал и даже презирал в душе своих патронов.

И слава богу, до сих пор все шло благополучно. Исправный, пунктуальный и осторожный, он ни разу не бил пароходов, даже аварий не случилось. И начальство, кажется, им довольно, хотя и долго не заикалось о пассажирском пароходе. А Никифор Андреевич никого не просил и не любил беспокоить начальство. "Само знает". Товарищи прямо говорили, что давно следовало бы Никифору Андреевичу получить пассажирский пароход на Крымской линии, но, верно, не дают за то, что он не представительный человек. Мало ли какие высокопоставленные пассажиры и какие важные светские пассажирки ездят в Крым.

Необыкновенно скромный, до болезни застенчивый Никифор Андреевич сознавал, – и очень страдал прежде, – что он не только не представительный, а просто-таки “безобразная рожа”, как самоотверженно называл он свое топорное лицо. Особенно возбуждал в нем чувство отвращения и словно бы виноватости перед людьми его мясистый, похожий на картофелину и багровый, как у пьяниц, нос. Он был самым главным изъяном его лица и самым “больным местом” мнительного и втайне болезненно самолюбивого Никифора Андреевича.

Он не увеличивал своих достоинств, а скорее умирал их. Он понимал, что не “боек умом”, никогда не “заносился”, ничего не читал, о чем можно бы задуматься и иметь шире кругозор, был не речист и терялся, особенно перед важными людьми. Даже и со своим начальством не умеет разговаривать и не умеет подлаживаться. Явится, бывало, по окончании рейса в Одессу, доложит, по возможности, лаконично о том, что все благополучно, и, робеющий, стесняющийся и застенчиво краснеющий, скорее вон из кабинета и на квартиру – повидать семью и пробыть “дома” два-три не всегда счастливые дня до следующего ухода в рейс недели на три, а то и на четыре.

И Никифор Андреевич старался подавить оскорбленное самолюбие обойденного человека и обиду

усердного работника на семью, благосостояние которой являлось для него чуть ли не главным и единственным смыслом жизни.

Положим, на пассажирском и выгоднее, и виднее, и пароходы быстрее и лучше, но, того и гляди, какая-нибудь история из-за пассажиров первого класса. И в рейсе капитан должен быть всегда начеку и одет щегольски. Замухрышка-капитан неприятен пассажирам. Они ведь требовательные, с претензиями и капризами. То покажется какому-нибудь генералу, что капитан недостаточно “приличен” и внимателен, то будто обед недоброкачествен, то вино скверное и дорогое, то качает, и виноват капитан, что не стоит на мостике, а болтает или спит; то зачем в туман пароход стоит по нескольку часов и капитан не обращает внимания на советы идти в Ялту, до которой всего полчаса, и сирена гудит. Особенно дамы нервничают. То и дело спрашивают капитана, погибнет ли пароход? Есть ли надежда спастись?.. Капитан должен оберегать их. Они ведь жены известных лиц в Петербурге... Все генеральши и со связями... Или жены миллионеров из Москвы... И всех этих плачущих, перетрусивших барынь надо уговаривать и успокаивать... А пассажирам надо объяснять, что в такой густой туман, когда бака не видно с кормы, лучше переждать, пока не прояснится... И эти стрекулисты из газет тоже...

народец. Задаются!.. Форсят!.. Не покажи особенного внимания к представителю прессы, не помести одного в каюту, не пусти на мостик, – начнет фыркать и... все нехорошо, не так, как на заграничных пароходах, и потом закатит корреспонденцию, в которой разнесет вдребезги капитана. А ядовитый генерал, у которого болит печень? Он едет в Ессентуки и, сердитый, выискивает за что бы придраться, и главным образом за то, что капитан не знает, что этот желтый и худой старик, с гладко выбритыми щеками и с застанным взглядом озлобленных глаз, тайный советник и директор департамента. Такой господин и того хуже... Он непременно напишет председателю правления письмо о беспорядках на пароходе, на котором, по несчастью, поехал, и попросит обратить внимание на недостаточную вежливость капитана с пассажирами... И тогда запрос правления директору... Тот, в свою очередь, капитану... Оправдывайся... Того и гляди, переведут на грузовой пароход... Бывали такие случаи.

“Бог с ними, с этими пассажирами. Лучше подальше от них... По крайней мере спокойнее!” – утешал себя Никифор Андреевич.

Но недавно Никифору Андреевичу обещали, что летом ему дадут пассажирский пароход... Под старость Никифор Андреевич показался начальству несколько благообразнее, и старый моряк обрадовал-

ся за семью. Тогда он будет получать жалованья с процентами до пяти с половиною тысяч. А теперь он получал с прибавками за долгую службу только три с половиной. Конечно, и с этими деньгами возможно жить, но осторожно и с умением. Недаром же Анна Ивановна недовольна, что Никифор Андреевич так мало получает и не умеет обратить внимания на свои заслуги. Семья не маленькая: кроме Анны Ивановны, четыре дочери. Две уж невесты и... хоть бы один жених!..

“И что с ними всеми будет, если, боже храни, кормильца не будет?” – подумал вдруг Никифор Андреевич.

И сердце его замерло от тоскливого ужаса за близких.

Как дорога и любима семья – эти некрасивые, застенчивые, обидчивые “девочки”. Они живут в скромной обстановке, при вечной воркотне матери о трудности сводить концы с концами, не знают развлечений, почти без знакомых мужчин. Особенно всегда недовольны и раздражительны две старшие дочери, часто говорят, вытирая слезы, что они жить хотят...

И по временам Никифору Андреевичу больно и тяжело в семье, когда, после рейсов, он проводил эти редкие, желанные дни дома. Он ждал тепла и любви, ждал отдыха в “гнезде”, ради которого работал без

конца, – и вместо этого ни ласки, ни внимания... Не такими хотел бы он видеть их.

Они точно безмолвно укоряли отца, что он не сумел сделать их счастливыми и не старался зарабатывать столько, чтобы семья жила прилично.

Жена, моложавая сорокалетняя Анна Ивановна, с ним холодна и несколько третирует, считая его недалеким и очень некрасивым. Никифор Андреевич это чувствует и побаивается жены. И прежде она не любила мужа и вышла замуж, чтобы пристроиться. Пригожей и бедной бесприданнице было восемнадцать, когда она пошла за некрасивого, смешного и влюбленного сорокалетнего Никифора Андреевича только что назначенного капитаном парохода.

Первые годы супружества пронеслись в голове капитана. Как он страдал, ревновал и любил! И сколько было у жены любовников! Он знал и не показывал, что знает.

Теперь нет и осадка. Он все простил. И жена стала ласковее, как узнала, что муж получит наконец пассажирский пароход... Семья будет жить лучше.

– И вдруг нищие! – прошептал Никифор Андреевич. – Нищие! – в ужасе повторил он, представив положение семьи, если...

“И как он беспомощен... И как он беззащитен!”

Словно бы только теперь, перед явной опасностью,

он вдруг прозрел, что в глазах начальства он только исправный капитан, а не человек.

Заболеет он – через шесть месяцев уволят. Составишься – убирайся вон и живи, как знаешь. Умри – семье ни гроша пенсии. Погибни в море – семья моряка, проплававшего двадцать семь лет, нищая!

“Бессовестные! Бессердечные!” – подумал Никифор Андреевич и спустился с мостика, по-прежнему не понимая, что делает людей бессовестными и бессердечными.

IV

– Первый свисток! – приказал капитан первому помощнику.

– Есть! – неуверенно и смущенно проговорил статный красивый молодой брюнет в щегольской тужурке и высоких сапогах.

И, стараясь скрыть перед капитаном чувство жуткого страха, овладевшего им, и не спеша исполнять приказание, дрогнувшим голосом прибавил:

– Мы, значит, уходим, Никифор Андреевич?

Старый капитан, владевший собою несравненно лучше своего помощника, словно бы не понял его вопроса.

И в его серьезном, казалось, не встревоженном лице и в обычном спокойном голосе было словно удивление, когда он, в свою очередь, спросил:

– А то как же, Иван Иванович?

– Я полагал, Никифор Андреевич, переждем... шторм...

– Не оставаться же здесь... Заштормуй – пароход разобьет в щепки об мол. Вот в Керчи и отстоимся, если штормяга прихватит...

“Уже бушует в море!” – подумал Никифор Андреевич. И, стараясь подбодрить и себя и помощника,

прибавил:

– Слава богу, дойдем!

Помощник взглянул на море.

– Ведь не загружены, Иван Иванович!

– Да, Никифор Андреевич... Здесь пустяки груза.

– А машина у нас здоровая. Отлично выгребали из Севастополя...

– Как бы не заливала нас продольная волна, Никифор Андреевич... Взгляните, что там! – испуганно проговорил брюнет.

И в голове его пронеслась мысль:

“Здесь пароход разобьет, зато все живы будем!”

Но сказать этой мысли не смел. Громадная волна, которая будет заливать и обледенять палубу и бугшприт, тревожила и капитана.

И, вероятно, оттого, что это его мучило и вселяло опасения, Никифор Андреевич, обыкновенно ровный и добродушный с подчиненными, раздражительно и даже с озлоблением воскликнул, глядя в упор на красивое, взволнованное и румяное лицо помощника.

– Да что заранее трусу праздновать, Иван Иванович! И что вы каркаете, Иван Иванович! Вы не ворон!

– Я вовсе не трус, Никифор Андреевич! – обидчиво вымолвил помощник.

И в то же время почувствовал, что сердце упало и по спине забегали мурашки... И он прибавил:

– Я не каркаю... Я только хотел...

– Все равно, идти надо. Первый свисток! – повелительно и резко перебил Никифор Андреевич, отводя глаза.

– Есть! – ответил в отваге отчаяния пригожий помощник.

И, бросив на “обезумевшего” капитана, не внимавшего резонов и внезапно “окрысившегося”, жалко-испуганный и укоряющий взгляд своих бархатных и нагло-ласковых черных глаз южанина, – торопливо пошел на мостик.

Через несколько секунд, заглушая вой ветра и гул прибоя, прогудели пары короткого свистка.

Три палубные пассажира – один в лисьем шубе-пальто, пожилой, рыжий лавочник из Новороссийска, с плутоватыми раскосыми глазами, и два чеченца в бурках, из Туапсе, с мужественными, правильными, точно выточенными, худощавыми и глупыми молодыми лицами – примостившись на своих настилках у горячей трубы, посматривали то на капитана, то на матросов.

И лавочник, торопившийся домой, чтобы получить с кого-то в срок деньги и по алчности не решившийся, несмотря на страх, остановиться в Ялте до следующего парохода, хотя и смертельно боявшийся воды, – закусывал воблу и ситник, пока не качает, и, бледный,

испуганно прислушивался к шуму моря и крестился. А чеченцы ели хлеб и овечий сыр и дрожали под своими бурками, покорные аллаху.

Вид капитана и матросов не наводил уныния и обнадеживал.

И лавочник говорил черкесам:

– Понимай, чиркес... Ежели пароход уходит, значит, секим-башки нам не будет! И капитан знает.

Черкесы слушают, едва понимают и безмолвствуют с видом фаталистов, ожидающих своей участи.

Матросы после свистка стали напряженнее и угрюмее. О том, что впереди, не разговаривали. Каждый про себя думал, что матросская жизнь каторжная и что в море жутко. Того и гляди, не увидишь берега.

Художник, окончив два эскиза, взглянул на море и, обращаясь к молодой девушке, словно бы в экстазе воскликнул:

– Какая грозная красота!.. И как хорош прибор!

“Что за скотина!” – подумал пригожий студент и возбужденно и сердито произнес:

– Какой опасности подвергаются матросы!.. В ней красоты мало!

И красивая барышня посмотрела на пароход и догадалась, что едущим на пароходе не до красот природы.

– Бедные! – застенчиво промолвила барышня, об-

ращаясь к студенту и словно бы извиняясь, что она, восхищаясь морем, забыла о людях.

И в эти минуты среди любопытных из серой публики раздавались восклицания, полные сочувствия и сожаления к морякам:

- Отчаянный капитан!
- И буря-то страсть!
- Небось, не боится идти!
- Как-то дойдет пароход.
- Матросикам-то как... Замерзнут!
- Вызволил бы их Николай-угодник!
- Спаси их господь! Не сделай сирот!

И кто-то истово перекрестился.

Капитан услышал эти замечания и опять вспомнил о своих.

“И какого черта я не остался в Севастополе!” – снова упрекнул себя Никифор Андреевич, скрываясь в рубку.

Он приказал буфетчику подать чаю и коньяк и, оставшись один, без свидетелей, Никифор Андреевич не выглядел решительным.

Но мысль о том, что остаться бы в Ялте и спастись, рискуя разбить пароход, даже не пришла ему в голову.

V

Как только “Баклан”, прогудев о приходе, ошвартовался у мола, Антон Жученко, чернявый и курчавый молодой матрос с бесшабашно-смелым и жизнерадостным пригожим лицом, то и дело прибегал на корму и взволнованно и жадно вглядывался в начало мола, поджидая кого-то.

Он не обращал внимания ни на завывающее море, ни на ледяной ветер, трепавший его шелковистую бородку и кудрявые волосы, выбивавшиеся из-под матросской нахлобученной шапки, и, казалось, в своем не особенно теплом буршлате, застегнутом наглухо, не чувствовал резкого холода.

Словно прикованный, весь нетерпение и ожидание, он впивался в каждую женщину, показывавшуюся на повороте с улицы на мол и сколько-нибудь напоминавшую ему издали ту, которую он так возбужденно ждал.

И его острые, как у ястребка, карие и лукавые глаза вдруг загорались радостным блеском, и взгляд становился нежным, ласкающим и влюбленным. Ему виделось, что спешит его желанная, любимая...

Это она, Матреша... Невысокая, аккуратная, такая франтоватая...

Но еще минута, и матрос увидал не ту, которую ждал.

“И что за рыло!” – мысленно досадовал Антон.

Его лицо, быстро меняющее выражение, уже омрачилось. И, подавленный и тоскливый, Антон снова взглядывал в показывавшиеся женские фигуры и, не узнав Матрены, начинал волноваться и злиться.

Прошло полчаса. Время казалось бесконечным.

Прогудел долгий свисток и за ним короткий первый.

Антон был в отчаянии. В следующее мгновение, взбешенный и ревнивый, он уже питал злые обвинения против Матрешы и мысленно повторял:

– Подлая!.. Шельма!

Антон уже решил, что из-за такой “подлянки” не стоит убиваться. Ну ее, сволочь, к черту. Наплевать! При первой же встрече искровянит ее обманную рожу.

Однако не отходил от кормы.

Антону делалось обиднее и оскорбительнее.

Он был привержен до дурости, сохранял закон, был ласков, не пьянствовал, не ругал и – дурак, как есть дурак – не бил, как бы следовало, чтобы понимала. Он в бурю уйдет, а ей все равно... Видно, опять зашилохостила...

– Бесстыжая обманщица!.. – прибавил он вслух.

И Антону нестерпимо захотелось видеть сейчас, сию минуту эту “подлую”, чтобы все обнаружить. Он

покажет себя, как обманывать... Покажет, и потом пусть убирается навек.

Матросу казалась теперь секунда целой вечностью. Он загорелся и, словно бешеный, сбежал с парохода и бросился к агентству.

Два пожилые носильщика-армяне сидели у стены, притулившись за ветром.

– Братцы!.. Спешка!.. Кто съездит духом в город?

Оба равнодушно подняли большие, влажные и ленивые глаза на нетерпеливого матроса и спрятали в гарусные шарфы, намотанные на шее, свои большие, сизые, мясистые носы.

Ни один даже не ответил.

– Идолы! Не даром. Заплачу!

– Дежурный. Нельзя! – ответил один.

– И мне нельзя! – промолвил другой. – А ты не баярин, не ругайся! – обидчиво прибавил он.

– Целковый дам!

– А куда? – вдруг разом спросили оба носильщика, несколько оживляясь.

– В Виноградную.

– Мороз-то какой. Хо-хо-хо! А тебе какая такая спешка? – спросил более добродушный и любопытный носильщик.

– Дать знать женке, чтобы явилась. Наживешь карбованец, армяшка!

– Не подходит. А ты вот мальчика пошли, сродственник, племянник. Умный, все справит. Наумка!..

Подошел черномазый, черноглазый и носатый мальчик.

Антон облегченно вздохнул и торопливо заговорил.

– Живо, Наумка! Бери первого извозчика и жарь в Виноградную, дом Кукораки... Знаешь?

Мальчик утвердительно кивнул.

– В доме меблированные комнаты барышни Айканихи... Не забудешь?

– Знаю Айканиху.

– У нее в горничной Матрена. Пусть в один секунд сюда на извозчике с тобой... Мол, матрос Антон наказал, чтобы беспременно. “Баклан”, скажи, в “рейц” отходит... Шторм! Понял?

– Все поняли! – хитро улыбаясь, ответил Наумка.

– Вали, Наумка! – кинул Антон, подавая мальчику деньги на извозчика. – Постарайся, целковый!

– А если пароход уйдет? – вкрадчиво спросил Наумка.

Оба носильщика хихикнули.

– Беги же! Да летом! Отдам дяде! – грозно закричал Антон.

И маленький Наумка, словно бы жеребчик, получивший внезапно плеть, помчался со всех ног.

– Наумка молодца... Исправно сполнит. Он – баш-

ка, даром что мал! – любовно сказал носильщик, восхищенный предусмотрительностью племянника, и подумал, что следует с Наумки получить “могарыч”.

Но матрос не уходил и волновался.

– Будь спокоен, Наумка не обманет – возьмет из возчика! – прибавил Наумкин дядя.

– То-то не обманет... А уж и шельмоватый Наумка!

– Понятливый. И привезет твою супружницу. Только отпустила бы Айканиха. Строгая барышня... укусная! – протянул армянин.

– Знаю, что укусная и зудит. Однако не посмеет... И Матрешка не овца... Отчекрыжит... Бойкая на язык!

В эту минуту мальчик сел в коляску, въезжавшую на мол, и скрылся.

– Спасибо, братцы!

С этими словами Антон побежал на пароход.

Снова прислонившись к борту кормы, он впился вперед на мол и, взволнованный и вздрагивающий, будто в лихорадке, повторял:

– И что за сволочь Матрешка!

И в голосе его невольно дрожала нотка любви.

Прогудел второй звонок. Лебедка еще работала, принимая бочки. Сердце Антона усиленно забилося.

И им овладела лишь одна мысль:

“Успеет ли приехать эта подлая Матрешка?”

VI

“Айканиха”, как вульгарно и неподходяще называли носильщики и Антон фамилию Ады Борисовны, да еще считали ее “уксусной”, – была тонкая и деликатного обращения девица, точный возраст которой никто в точности не знал, но во всяком случае предполагали, что Аде Борисовне от тридцати до сорока.

Белобрысая, с щурящимися, маленькими, близорукими, порой мечтательными глазами, с мелкими кудряшками у лба, высокая и худая, как спичка, благоухающая шир'ом и втайне влюбчивая, Ада Борисовна, благодаря изяществу сдержанных манер, пышным складкам на лифе, выхоленным рукам в кольцах и кое-каким секретам нежности кожи лица, казалась близоруким мужчинам еще недурной, особенно под густой вуалеткой и без солнечного или лунного освещения на берегу моря.

Иметь пансион, как считала Ада Борисовна приличнее называть свои меблированные комнаты в двухэтажном доме, она не считала “компроментантным” занятием хотя бы для образованной девушки из порядочного общества и генеральской дочери, жаждавшей самостоятельности и какого-нибудь дела. Вдобавок пансион, вполне приличный и семейный, дает не

только полезную деятельность, но вместе с тем и хороший доход во время сезона, когда порядочные приезжие ошалевают от серьезных цен, произносимых с любезной улыбкой изящно одетой, благоухающей и корректной Адой Борисовной.

Хоть Ада Борисовна и влюбчива, но это не мешает ей быть деловитой и аккуратной хозяйкой, понимающей значение сезона и несоответственных цен за комнаты. Она необыкновенно заботлива о своих жильцах, особенно зимой, когда приезжих так мало и пустующих комнат так много. Она умеет примирять беспокойных и нервных жильцов с кое-какими неудобствами, вроде холода в комнатах, щелей в рамах и слишком маленьких порций за завтраками и обедами, – бесконечной внимательностью, знанием трех языков и научно доказанных фактов о пользе для здоровья прохладного воздуха в комнатах и домашнего простого и свежего обеда без излишества. И, в подтверждение своих теоретических сообщений, Ада Борисовна рассказывала, как быстро поправлялись жившие в ее пансионе прошлой зимой князь Булатовский, известный писатель Ракушкин и один молодой офицер фон-Дорф.

Участливая к своим жильцам, что сказывалось и в ласковом взгляде маленьких глаз и в мягком сопрано,

иногда доходящем до тремоло ⁵, Ада Борисовна или заходила к жильцам, или приглашала в свою уютную и хорошо убранную гостиную со множеством фотографий прежних жилищ и жильцов с более или менее известными фамилиями. И, чтобы сколько-нибудь развлечь тоскующих на чужбине по семейной обстановке, хозяйка не без увлечения и мастерства беседовала о разных темах, дипломатически принаравливаясь к взглядам гостя или гостя.

Ада Борисовна болтала о литературе, о политике, о своем знатном происхождении, о дороговизне в Ялте провизии, о задачах жизни, и, случалось, не без патетических ноток рассказывала об одиночестве непонятых душ. В интимной беседе с какой-нибудь понимающей собеседницей Ада Борисовна рассказывала, разумеется, в третьем лице, об одном романе, испортившем жизнь. Она любила. Он представлялся, что любит, но вскоре обнаружилось, что он хотел жениться из-за низменных целей – из-за приданого и протекции отца. И она отказала и с тех пор уже никогда не любила... Знала Ада Борисовна и много пикантных романов приезжавших в Ялту дам. Осторожно, не называя имен героинь, Ада Борисовна рассказывала о наивной простоте завязок этих романов, брезгливо

⁵ Тремоло (муз.) – очень быстрое повторение одного или чередования нескольких звуков.

удивляясь, что можно увлекаться такими героями, как татары-проводники. И не без негодования прибавляла, что им “бог знает за что” московские купчихи и даже генеральши платили шальные деньги. Вообразите?

Зимой, ради экономии, Ада Борисовна держала только одну горничную, Матрешу, которая живет в пансионе уже пять лет и, расторопная и знающая свое дело, должна была, по мнению Ады Борисовны, одна справляться, хотя ей, конечно, трудно везде успевать.

Но зато Ада Борисовна давала Матрене соответствующие инструкции о том, в каких номерах следует быть исправнее и к кому внимательнее, имея в виду характер и положение жильцов, размер их платы и время возможного пребывания в пансионе.

Стараться в остальных номерах, о которых не сообщалось особенных инструкций, предоставлялось самой Матреше, чтобы не было неудовольствий со стороны жильцов.

Ада Борисовна, разумеется, не могла не дорожить расторопной, ловкой и приличной горничной, хотя и считала ее “продувной бестией” и не без тайной зависти злобствовала на Матрешу за то, что она особенно нравится жильцам.

Как ни возмущала Аду Борисовну безнравствен-

ность Матрешы, тем не менее практическая сметка хозяйки пересиливала зависть и невольную брезгливость добродетельной поневоле, увядавшей девицы. И она не преследовала Матрешу за флирт, хорошо понимая, что жильцы более привязываются к пансиону, не поднимают историй из-за каких-нибудь пустяков и как-то становятся веселее, когда видят в комнате внимательную и услужливую горничную. Тем более терпела, что Матреша настолько была сообразительна, дорожила местом и знала строгие правила барышни, что не допускала “гадостей”, которые могли бы испортить репутацию ее пансиона.

К тому же Матреша год тому назад вышла замуж и, конечно, должна вести себя осторожнее. Ведь любит же она этого влюбленного Антона. Недаром же она, не послушав добрых советов Ады Борисовны, сделала глупость – вышла замуж за грубого, без гроша матроса и тем огорчила ее. Хоть Матреша и обещала остаться, но ведь, того и гляди, уйдет и оставит без опытной и привычной горничной хозяйку, которой была обязана и своим положением и деньжонками.

“Неблагодарные!” – думала Ада Борисовна.

VII

Матреша была хорошо сложенная, ослепительно-белая, рыжеволосая блондинка, лет двадцати пяти-шести на вид, небольшого роста, крепкая, свежая, дышавшая здоровьем, с приветливым и сдержанно-лукавым взглядом быстрых и смысленных глаз, умевших, казалось, говорить красноречивее слов, с слегка вздернутым носом, пышными губами и черной родинкой на щеке, придающей пикантность миловидному и кокетливо-задорному лицу Матрешы.

Щеголевато приодетая, в белом фартуке и в высоком французском чепце, опрятная, вежливая без угодливости, Матреша в одиннадцатом часу убирала третий номер, особенно рекомендованный барышней. Матреша старательно и усердно вытирала каждый день со всех вещей пыль, после того, как подметала пол, и убирала постель в маленькой соседней спальне, потом прибирала письменный стол, складывала к месту газеты и быстро являлась на электрический звонок жильца.

Он, требовательный, мелочной, страдавший болезнью печени, платил за свои две комнаты дороже, чем другие, чтобы только пользоваться особенным вниманием и быстрым исполнением своих законных

просьб, как внушительно говорил “№ 3”, отучневший петербургский чиновник второй молодости, приехавший в Ялту для отдыха от невероятно долгого сиденья в департаменте и не терявший еще надежды на возвращение сил первой молодости.

“№ 3” жил уже более месяца и, видимо довольный, заплатил Матреше пять рублей за месяц услуг. Он напускал серьезный вид, когда Матреша приходила убирать и подавала самовары, завтраки и обеды, хотя из-под густых седых бровей незаметно бросал на Матрешу загоравшиеся глупые взгляды и снова отводил глаза и делался серьезнее, не решаясь на авантюру, о которой втайне мечтал. Аккуратный, он часто прикидывал, во что обошлась бы авантюра, если бы эта “штучка” согласилась хотя бы на флирт и, главное, не болтала бы об этом, чтобы не скомпрометировать репутации солидного, видного чиновника в генеральском звании.

Однако сегодня, когда Матреша окончила уборку и хотела было уходить из комнаты, жилец внезапно проговорил серьезным тоном:

- А сегодня прохладно у вас, Матреша... А?..
- Сильный ветер, барин.
- Какой?..
- Норд-ост...
- Вы, Матреша, говорите, норд-ост?..

И, внезапно понижая голос, прибавил:

– А вы не озябли, Матреша?..

– Мне не холодно! – улыбнулась Матреша.

– И вечером не холодно?.. А?.. Вечером холоднее...

Или у вас горячая кровь, Матреша...

– Я молодая, барин... Оттого и кровь горячая...

И Матреша кокетливо и вызывающе повела глаза на жильца “второй молодости”.

Старик осоловел и шепнул:

– А ведь вы прехорошенькая, Матреша.

– Будто?..

– Право, очень хорошенькая... Где ваш муж?..

– В разлуке!.. Он матрос...

– У такой милой Матрешы и матрос?.. Удивительно!

И скучно по муже?

– Как по муже не скучать...

– А знаете ли что, Матреша?..

– Что, барин?..

– Только между нами...

– Я не болтушка, будьте спокойны...

– Вы мне очень нравитесь, Матреша... И вот вам позвольте подарить золотой...

С этими словами жилец подошел к Матреше и подал пять рублей.

– За что?

– А за вашу красоту... И постоянно рад вам да-

вать по столько, если... если... позвольте вас поцеловать... В этом... ээ... ээ... право, Матреша, ничего дурного! – прибавил жилец.

Торопливо и почти что с серьезным деловитым видом Матрена сунула золотой в карман юбки и подставила свою белую, упругую щеку.

Не глядя на раскрасневшееся, млевшее лицо жильца второй молодости, который припал к шее носом, Матрена с брезгливым чувством ощущала слюнявые губы я поцелуи, которых столько продавала во время сезона с таким же деловитым равнодушием. И, прислушиваясь к двери, Матреша, привыкшая к курортным нравам, думала:

“Никакой тут мерзости нет. Здесь барыни еще хуже. Меня не убудет от этих поцелуев блудливого старика. А между тем лишние деньги пригодятся для дома: для меня и Антоши”.

Через две-три минуты она уже решила, что за пять рублей уплата произведена, и, оттолкнув осоловелого старика, шепнула:

– Будет! Еще барыня войдет... Каково?

Старик испуганно отошел к столу и, присаживаясь, пролепетал сдавленным голосом:

– Милая... Обворожительная! Если б вы знали, как я вас... люблю!

– Знаю!.. – насмешливо промолвила Матреша.

– Так заходите вечером... на четверть часа... Придете?

– Может быть! – неопределенно засмеялась Матреша.

– Я снова подарю золотой...

– Но только помните уговор; кроме поцелуев, как сейчас, ничего!..

– И флирт с вами наслаждение, Матреша... О, какая вы милая, Матреша!..

“И какой ты противный!” – подумала Матреша, улыбаясь глазами.

В эту минуту в двери тихо постучали.

Матрена уже сметала книги с этажерки пуховкой, как ни в чем не бывало, а жилец хриплым голосом разрешил войти и успокоился, что в дверях стояла толстая, пожилая кухарка. Извинившись, что осмелилась побеспокоить генерала, она сказала, что зовут Матрешу.

– Мальчик какой-то ждет тебя в кухне! – шепнула в коридоре кухарка.

Обе спустились в кухню. Наумка торопливо доложил Матреше о своем поручении и что извозчик ждет. Пароход скоро уходит. Уж второй свисток.

Матреша обрадовалась, почему-то смутилась, бегом вернулась наверх и нетерпеливо постучала в комнату Ады Борисовны.

И, впущенная, возбужденно и почтительно проговорила:

– Позвольте на полчаса отлучиться, барышня!

– Это зачем? – с неудовольствием спросила хозяйка, подозрительно взглядывая на взволнованное лицо Матрешы.

– Антон прислал за мной. “Баклан” уходит. И какая буря, барышня! – прибавила тревожно Матреша.

– Твой матрос мог бы сам забежать... И что матросам буря... А ты дома нужна.

– Антону, значит, нельзя.

– И тебе нельзя... Скажите, пожалуйста, что за проводы!

“Экая злюка и бессердечная!” – подумала Матреша.

Оскорбленная, возбужденно возвышая голос, Матреша проговорила:

– Кажется, без необходимости утром не прошусь, барышня. Ровно каторжная у вас работаю... Не зудите, барышня, и отпустите, а не то и без спросу уеду...

– Не будь дерзкая, Матреша!.. Номера третий и пятый убраны?

– Убраны.

– Уезжай и скорей возвращайся!.. И что у нас за прислуга! – вздохнула Ада Борисовна.

Но Матреша этих слов, верно, не слыхала. Она бы-

ла уже в своей маленькой комнате в первом этаже, против комнаты Ады Борисовны, торопливо обвязала шею голубой лентой, надела теплое пальто с барашком на воротнике, новую шляпку, переложила из кармана золотой, только что полученный от жильца № 3, в портмоне, и выбежала на улицу.

Через минуту она с Наумкой ехала на мол.

Чем ближе подъезжала коляска к молу, тем ужаснее казалась буря.

И Матреша чувствовала себя виноватой перед Антоном, что он все еще матросом и должен идти в такую бурю.

“Могла бы уже с ним не разлучаться. Деньги-то прикоплены”, – думала Матреша и взволнованно повторяла:

– Ради бога, поскорее, извозчик! Поскорей, голубчик!

VIII

Едва сдерживая безумную радость, охватившую Антона, когда он увидал коляску, в которой сидела Матреша, казалось, еще красивее и франтоватее, — он уж и не подумал больше о том, чтобы “показать себя” Матреше и искровянить ее “обманную рожу”.

Но, словно бы стыдясь показать, как он обрадовался и как он ее любит, Антон встретил Матрешу, когда она взбежала на пароход, не особенно горячо и, напуская на себя беззаботный вид, пожал руку и проговорил:

– Однако и поздно, Матреша... Полагал, и не приедешь...

– Не знала, что пришел... Письмо бы послал...

– Послал...

– Не получила, Антоша, честное слово!..

Антон отдал рубль Наумке и повел Матрешу вниз, в матросскую каюту.

– Небось, торопилась?..

– Еще бы!

Матреша обвила шею Антона и крепко-крепко поцеловала его. Глаза ее блестели такой любовью, что Антон, счастливый и радостный, восторженно любовался Матрешей и, словно не находя слов, несколько

секунд молчал.

И спросил наконец:

– А живешь как у своей уксусной?

– Подлая... Не хотела отпускать сегодня... Сказала, что и без спросу уеду...

– Молодца ты у меня, Матрешка.

Он крепко сжал ее руку и прибавил:

– Вернемся с рейца, к тебе забегу.

– Не ходи ты в рейц. Слышишь? Оставайся здесь.

Едем! – возбужденно говорила Матреша.

И в голосе ее звучала мольба. И глаза ее так нежно ласкали.

– Никак нельзя.

– Сделай для меня... Шторм-то какой... О, господи!

– Служба. И нехорошо уйтить. И под суд уйдешь, если сбежишь... Понимаешь?

Матреша понимала не то, что уйти нехорошо, а то, что посадят в тюрьму. Но теперь она понимала, что виновата перед Антоном, когда уговаривала его не оставлять пока места рулевого на пароходе, благо жалованье хорошее, и сама не хотела бросать места горничной. Доходы соблазняли ее и после интимности с Антоном и выхода за него замуж.

Она скрывала это от него. Ведь доходы не мешали ее любви к Антону, но он бешеный, ревнивый... Вызнал бы все, живя в Ялте.

И, охваченная поздним раскаянием, она заплакала.

– Не реви, Матрешка... Чего реветь? – с необыкновенной нежностью проговорил матрос, тронутый страхом Матрешки за него и сам отлично понимающий опасность шторма.

И, стараясь поцелуями вытереть слезы, он, чтоб подбодрить Матрешу, прибавил своим уверенным и бесшабашным тоном:

– И чего бояться? До Керчи дойдем, там и отстоимся... И телеграмм тебе пошлю!

Матреша улыбнулась сквозь слезы. И через минуту, хорошо знающая власть своего обаяния над Антоном, решительно и повелительно сказала:

– Как рейц кончишь, проси расчет. Слышишь? Не хочу я больше мужа матросом!

– Обязательно возьму расчет, коли ты хочешь быть при муже!..

– То-то хочу, и чтоб вместе жить, Антоша... на одной квартире... Надоело врозь... Брошу я свою Айканиху!

Обрадованный Антон сиял победоносно.

– То-то пришла в рассудок, Матрешка... Давно звал тебя вместе жить, как полагается форменно супругам... И я место приищу... в дворники поступлю, а то не здесь, так в Севастополе. Небось, тебе не нужно в людях жить.

– Придумаем, как лучше, Антоша... Деньжонки

есть.

– Скопила?

– Так по малости на месте...

И, заметив, что Антон не обрадовался этим словам, прибавила, любуясь своим пригожим и ревнивым мужем:

– Не нравится, что живу в горничной?

– А ты как полагала, Матрешка? Лестная, что ли, твоя должность! Разве что только выгодная, ежели вертишься день-деньской да жильцам ублажай, чтобы были довольны... Хуже нет... И между ими есть прямо-таки подлецы! Думают – с деньгами и господа... Облестительная, мол, горничная... Так и без разговора ее упоцелует. Свины!

– Всякие есть... И отваживаешь! – лгала Матреша, чтоб не оскорбить Антона. – Недавно еще... в третьем номере, старый генерал пристаивал...

– А ты бы его в морду, Матрешка! Мол, в законе! – вспылчиво воскликнул матрос.

– И так отстал... Не воображай... Будь покоен, обожаю своего Антошку... Милый! Вернешься только в Ялту – ну их с пансионом! – горячо говорила Матреша, охваченная страхом за мужа.

И прильнула к его губам. Потом вспомнила о золотом и сунула его Антону.

– А ты, Матрешка, знай, что, кроме тебя, ни на кого

не взгляну. Завладела!..

В каюте сильно покачивало. В открытые двери до-
несся окрик:

– Свисток!

Антон истоиво и серьезно поцеловался троекратно с
Матрешей, и они вышли наверх.

– До свидания, Матрешка!

– Прощай, мой желанный!

Загудел третий свисток. Матреша сбежала со сход-
ни. Антон поднялся на мостик и стал к рулю с подруч-
ным.

Старый капитан, в дождевике поверх теплого паль-
то, обмотанный шарфом и в теплых английских пер-
чатках, озабоченный, стоял на мостике, обернувшись
к корме, чтобы не прозевать хода вперед при отдаче
швартовов и пароход не ударился бортом о стенку мо-
ла.

Увидав своего любимца, славного рулевого, Ники-
фор Андреевич кинул:

– Легко, Антон, снаряжился. Зазябнешь. Есть полу-
шубок?

– Есть, вашескобродие. Не успел одеться. Снимем-
ся, надену.

– Видно, жена помешала?

– Приезжала проводить, Никифор Андреич!

Убрали сходню. Никого из посторонних не оста-

лось.

– Отдавать швартовы! – скомандовал капитан.

И сию же минуту, как только что стали отдавать швартовы, капитан возбужденно крикнул по телефону в машину:

– Полный ход вперед!

Машина застучала, и винт забуровил. “Баклан” отходил от пристани и, раскачиваясь с бока на бок, обдаваемый верхушками волн, направился, сделав поворот налево, в море.

Капитан тихонько перекрестился и, полный решимости не оставить мостика, чтоб бороться с штормом, с угрюмым видом человека, для которого нет выхода из положения, смотрел вперед и тоскливо смотрел и слушал, как на просторе дьявольски поднимаются и режут волны.

Придерживая заязбшей рукой шляпку, Матреша стояла у края пристани, не спуская глаз с Антона, ворочавшего рукоятку штурвала. Ужас отражался в расширенных зрачках Матрешы при мысли, что Антону не вернуться. Напрасно стараясь улыбнуться, она кивала на пароход головой, чувствуя, как рыдания перехватывают горло.

Прибой грохотал, и волны гудели.

В публике ахнули. Многие крестились, точно прощались. Никто не спускал глаз с отошедшего парохо-

да.

“Баклан” только что отошел, как качка уже “трепала” пароход. Нос его стремительно опускался, словно зарываясь в воду, и корма взлетала словно на дыбы. И мгновениями “Баклан” скрывался от глаз и снова показывался, такой маленький, метающийся, захлестываемый бешеными волнами и, казалось, обреченный на гибель.

По мере того, как “Баклан” удалялся от мола, пароход казался с берега еще беспомощнее и чаще закрытым волнами.

Публика стала расходиться.

Зрители “посерее”, подавленные, под впечатлением потрясающего зрелища обреченных людей, бросали недружелюбные короткие взгляды на тех из немногих возвращающихся с мола господ, которые, тепло одетые и довольные, внушительно и громко восхищались грозным морем и беснующимся прибоем и с веселой развязностью болтали и смеялись.

Матреша, с красными от слез глазами, удрученная тоскливыми думами об Антоне, тихо и раздумчиво, ни на кого не глядя, проходила в толпе, направляясь к извозчикам, чтоб спешить домой. Ее нагнал жилец пятого номера пансиона “Айканихи”, маленький круглый молодой человек в щегольском меховом пальто и в бобровой боярке, месяц тому назад приехавший

из Петербурга в Ялту отдыхать от чего-то и зачем-то вдохновляться морем. Неказистый, со скуластым, румяным и самодовольным лицом, он заглянул в лицо Матрешы и слегка победоносным и наглым тенорком воскликнул:

– И вы полюбоваться природой, Матреша?.. Вы на морозе прехо...

И внезапно оборвал слово.

Оборвал и, решительно сбросив золотое пенсне и словно бы лично оскорбленный страшным порывом ледяного ветра, быстро спрятал в серебристый бобровый воротник свой чувствительный к холоду, пухлый, маленький вздернутый нос.

Глаза Матрешы сверкнули презрительным огоньком. Она отвернулась от “пятого номера” и пошла скорее. А молодой человек удивленно и обиженно взглянул на Матрену, такую внимательную и любезную в пансионе и такую грубую на улице.

– И глупый же однако кобель! – громко проговорил какой-то рабочий.

А Матреша слышала, как около нее какой-то старый, обросший, смуглый грек говорил такой же старой гречанке, что “Баклану” не дойти и что такого шторма и не вспомнить. Слышала и от других проходящих такие же безнадежные замечания и видела тревожные лица.

Совсем потерянная, села Матреша в коляску и велела ехать домой.

Вернувшись, она стала прибирать неубранные номера и накрывать в столовой к завтраку... Пансион ей стал нестерпим.

Ада Борисовна увидела мрачную Матрешу в столовой и проговорила мягким, вкрадчивым голосом, искренности которого Матреша не верила:

– Что с тобой, Матреша? Нельзя же быть горничной с таким мрачным лицом. Можно подумать, что тебя обидели, и ты дуешься. На кого ты дуешься? Уже не на меня ли?

– Я не дуюсь, барышня.

– Вот и порадовала. Ведь я, кроме добра, ничего тебе не сделала. Пять лет живешь, и, слава богу, и я довольна и жильцы тобой довольны. А мне было казалось, что дуешься на меня.

– Зачем дуться? Не понравится, и взяла расчет! – проговорила Матреша.

Ада Борисовна испугалась. – “Дерзка!” – подумала она.

И, охотница до бесед по душе, она позвала Матрешу в комнату и просила рассказать откровенно, что с Матрешей. Ведь Ада Борисовна так привязана к Матреше. Она такая отличная горничная. Недаром же все жильцы вознаграждают за ее внимательность. Даже

такой требовательный, как номер третий, и тот очень доволен и говорил, что такой добросовестной, как ты, не видал. А этот старик важный генерал и богатый... Только будь внимательна, и он хорошо заплатит за услуги. Он до осени думает прожить... И пятый номер, молодой человек благодарил, что у нас в пансионе такая аккуратная горничная.

– Ты ведь умница, Матреша, и всегда приветливая. А между тем такая мрачная.

Матреше хотелось скорее отделаться от Ады Борисовны, которая стала “облещивать” и запела свои разговоры.

И Матреша отрезала:

– Антона жалко. Оттого и невеселая!

– Но отчего жалко? Ведь он, слава богу, здоров?

– Буря на море. А пароход ушел. Кажется, понятно, барышня?

– Но, милая... Ушел пароход и дойдет, куда нужно...

Зачем же ты тревожишься?..

“Зачем тревожиться!?” – подумала Матреша.

И, едва сдерживая слезы, Матреша сказала:

– Мне некогда, барышня. Надо накрывать к завтраку!

Но, чтобы утешить Матрешу и она “не имела мрачного вида”, совсем не подходящего приличной горничной приличного пансиона, Ада Борисовна сказа-

ла, что задержит на минуту, и проговорила:

– Верь, Матреша, что опасности нет (и подумала: “а если будет, тогда и плачь!”). Капитан же знает, и хороший капитан... И будь благоразумнее: не тревожь себя. Не распускайся. Не кажись неинтересной, Матреша... Ты ведь хорошенькая, и надо беречь красоту... Мало ли какие мнительные мысли приходят в голову, но не следует давать им воли... Ты думаешь, Матреша, и у меня нет тоскливых дум? И мне бывает грустно, но я знаю, что у меня есть обязанности перед жильцами, и... на людях я любезна... Я обязана... Будь же хоть при жильцах не такой грустной... Сделай для меня... У нас ведь в пансионе порядочные люди, а не бог знает какие.

Матреша наконец вышла.

Все эти льстивые разговоры “Айканихи” не только не успокоили и не обрадовали, но еще более возбудили Матрешу против хозяйки. И она казалась молодой женщине бессердечной, сухой и отвратительной с ее “подлыми”, лукавыми советами, чтобы удержать жильцов.

С каким злорадством объявит она Айканихе об уходе... “Только получу телеграмму, что пароход пришел в Керчь и Антон здоров!”

Так думала Матреша, накрывая на стол, и по временам надежда закрадывалась в ее сердце.

Вечером, когда Матреша подала самовар жильцу второй молодости, он проговорил:

– Ты придешь?.. Ты ведь обещала, Матреша... А я опять золотой дам.

Но генерал был оскорблен, когда Матреша, не скрывая отвращения, со злостью ответила:

– Никогда не смейте приставать... бесстыжий старикашка... Наплевать мне на ваши деньги... Туда же, ухаживатель!

Матреша вышла и в своей маленькой комнатке плакала.

А ветер, казалось, усиливался и завывал громче и сильнее. Рвало крыши. Лестницы визжали и свистали. Из труб точно вылетал стон.

Матреша выскочила на улицу и – боже! что за вихрь! Под бледным светом месяца блестели замерзшие канавки и лужицы. Ледяной, захватывающий холод! И какие порывы ветра, пригибающие к земле деревья и рвущие крыши и вывески!

“О, господи! Что там, в море!” – думала Матреша.

И, вернувшись в комнату, она, рыдая, молилась:

“Спаси, боже, пароход!”

На следующий день шторм бушевал, как вчера, и жильцы жаловались, что в комнатах холодно. Номера третий и пятый, необыкновенно злые и недовольные Матрешей, говорили ей, что жить в этом пансионе

нельзя – морозят здесь, – и к вечеру Ада Борисовна упрекнула Матрешу, что она стала дерзка с жильцами. Жаловались, что она долго не идет на звонки.

– Свиныи они, вот что! – со злостью ответила Матреша и прибавила: – Холод в комнатах. Они и за это сердятся!

К вечеру Матреша стала еще нервнее и раздражительнее. Телеграммы не было. Ночь Матреша беспокойно спала, часто просыпалась и прислушивалась, нет ли стука в прихожей.

Прошла ночь. Настало утро. Шторм не стихал. Телеграммы не было.

После уборки комнат, не спросившись Ады Борисовны, Матреша поехала в агентство узнать, где “Ба-клан”?

В агентстве ответили, что о нем нет никаких известий.

Матреша вернулась убитая.

IX

Никифор Андреевич с ужасом видел, что шторм крепчал, и через несколько часов после выхода из Ялты понял, что идти прежним курсом, в Феодосию или в Керчь, нельзя.

При громадной боковой качке волны нападали на груженный пароход с обеих сторон, поминутно вкатываясь и на палубу, и на корму, и на бак. И вода, застоявшаяся на палубе и непрерывно обрызгивающая бугшприт и борты, быстро замерзала, покрывая их льдом.

Матросы и пассажиры то и дело скалывали лед, но новые волны снова наносили новый лед. И матросы зябли, изнемогали и снова работали, в исступлении невольного ужаса, охватывающего при мысли о неминуемой опасности, и испуганно взглядывали с мольбой и вопросом на укутанного капитана, дождевик на котором обледенел.

А капитан, придумывающий средства спасения от гибели, думал:

“Волны зальют, и лед будет лишней тяжестью – она нас увлечет ко дну. Надо повернуть и пойти полным ходом по волне – и, бог даст, дойдем до Новороссийска или Батума, куда попутно”.

“Только повернет ли счастливо пароход? Не зальет ли его при повороте? Тогда смерть!” – промелькнуло в голове Никифора Андреевича. Казалось, смерть в этих кипящих волнах, от которых дышит ледяным холодом, так близка и неминуема!

“О, господи!” – шепнул капитан и мысленно прибавил:

“Выбора нет!”

Он видел, что ледяной шторм неистовствовал. Нос уж обледеневший и не так легко поднимался на волну. Везде лед. И матросы его не побеждают. Брызги мгновенно обращаются в льдинки. И какая жестокая стужа! Он чувствует, что ноги коченеют...

Все больше и больше волн вкатываются на бак, и людям работать там невозможно.

Капитан видел испуганные и молящие взгляды кучки людей, работавших на обледеневшей палубе около трубы. Они вздрагивали от стужи, посиневшие, с одеревеневшими пальцами, окачиваемые брызгами, покрывающими буршлаты ледяною корой.

Был пятый час утра, когда капитан решился.

Придерживаясь за поручни, чтобы не быть снесенным в море, капитан подошел к штурвалу, помещенному в маленькой рубке, и приказал Антону:

– Лево на борт!

И, выйдя из рубки, он смотрел, как покати́л нос

вправо, и... и... вдруг... закрыл глаза, опять их открыл и секунду-другую ждал гибели...

Правый борт кренился все ниже и ниже, все ближе и ближе к волнам. Они уже вливались и покрывали словно смертным покровом...

И все матросы, охваченные ужасом, подбежали к трубе и... замерли, потрясенные.

Ни один не крикнул... не молил...

Только мещанин из Новороссийска выл и молился, каялся в грехах и обещал не грешить, если бог смилуется и спасет...

Эти несколько мгновений предсмертного страха казались бесконечно долгими.

И вдруг вздох облегчения вырвался из десятка грудей...

Борт поднялся... Волны отхлынули... И, сделавши оборот, пароход выпрямился и раскачивался уже не боковой качкой, а килевой.

Всем казалось, что положение стало лучше.

И Никифору Андреевичу показалось, что пароход безопаснее. Надежда закралась в изнывшую душу. Капитан вызвал старшего помощника подменить, бросился в каюту, чтобы немного согреться. Перед этим он велел матросам очищать пароход от льда по-сменно.

Боже, какое физическое наслаждение тепла испы-

тал Никифор Андреевич в каюте! И с каким удовольствием он выпил стакан горячего чая с коньяком... И с какой надеждой он думал, что шторм хоть немного стихнет!

Но к ночи надежды почти не было. Отчаяние уже овладевало капитаном.

Еще бы!

Бугшприт представлял собою уже гору льда. То же было и с кормой. И пароход заметно сел ниже... Нос все тяжелее взлетал из воды...

Но Никифор Андреевич, несмотря на отчаяние, не потерял еще упорства в борьбе.

И, озаренный счастливой мыслью, всегда трусивший начальства, Никифор Андреевич теперь не подумал его бояться, когда приказал старшему помощнику выбросить за борт часть груза...

В эту минуту из-за стремительно несущейся к югу черной зловещей тучи вдруг обнажился полный месяц, красивый и бледный, ливший мягкий и серебристый трепетный полусвет.

Бесстрастно и холодно глядел он сверху и на гудевшее море, и на этот, словно бы заблудившийся, маленький пароход, судорожно метавшийся в качке, изнемогавший под ударами бешено нападавших громад-волн, и на эту маленькую кучку испуганных и иззябших от пронизывающей стужи людей, напрасно

работающих, чтобы освободить пароход от нарастающего льда.

Глядел месяц и на Никифора Андреевича, казалось, замерзшего в своей неподвижной позе, и на искаженное от панического ужаса и жалко-страдальческое лицо, с вздрагивающими челюстями, старшего помощника, который глядел на капитана бессмысленными, выкаченными и неподвижными глазами.

Убитым голосом помощник спросил:

– Выбросить груз?

– Десять тысяч пудов! Поняли? – крикнул капитан.

– Есть! – уныло ответил Иван Иванович.

– А сию минуту отдать якорь, а то и два! – резко и повелительно кричал Никифор Андреевич.

– Есть! – отвечал оцепеневший от страха старший помощник, казалось, не понимавший цели этих приказаний.

“Гибель неизбежна! О, господи!” – думал Иван Иванович и воскликнул:

– Стоит ли бросать груз, Никифор Андреевич?

И, чуть не рыдая, вдруг разразился жалобными упреками:

– Зачем в Ялте не остались? Зачем? Пароход мог разбиться в щепы об мол, но мы были бы живы. А теперь – смерть. Зачем пошли на гибель? Ведь у вас семья... у меня – невеста... Все хотят жить!.. И вы ви-

новаты... вы!..

– Якорь! Груз за борт! Вы обезумели от страха? Как вам не стыдно! Мы отстоим пароход! – громовым голосом крикнул Никифор Андреевич, разгневанный, что помощник не верит тому, во что он хочет верить.

Этот бешеный окрик капитана задел самолюбие старшего помощника, и в то же мгновение проблеск надежды на жизнь вспыхнул в его сердце.

И он, приободренный, бросился с мостика исполнять приказания, которые казались теперь малодушному молодому брюнету необыкновенно значительными.

А у капитана, напротив, прежней надежды уже не было.

– Стоп машина! – крикнул Никифор Андреевич.

Якорь упал на глубине двадцати сажен.

“Баклан” остановился, вздрогнул всеми своими членами и бросился к ветру.

С лихорадочной поспешностью матросы выбрасывали за борт груз.

Облегченный, пароход приподнялся над водой. Надежда снова воскресла в людях.

Х

Но недолго надеялись моряки.

О, что за бесконечно длинная была эта ужасная ночь на Черном море!

Шторм, казалось, ревел “вовсю” и дошел до своего апогея. Мороз захватывал дыхание.

Непрерывающийся гул моря и вой ветра, потрясающий мачты и проносившийся то стоном, то визгом по мачтам, трубе и бортам, и эти тяжелые, ледяные и освирепевшие волны в такой жуткой близости наводили ужас на несчастных моряков, не испытавших еще такого жестокого шторма. Смерть смотрела в глаза, беспощадно близкая.

Пароход метался, как в бешенстве агонии. Он, точно в судорогах, вздрагивал на цепи. Она то натягивалась, как струна, то “сдавала”. И тогда “Баклан” подбрасывало, и он стонал и скрипел, вздрагивая на своей привязи.

Часы тянулись без конца. И каждая минута этих долгих часов говорила о смерти.

Матросы и два черкеса-пассажира скалывали топорами и ломami лед, стоя по колени в ледяной воде, привязанные концами, чтобы не быть смытыми в море. А лед все выше и выше поднимался над носом.

Вместо короткого бугшприта и носа белела бесформенная уродливая глыба.

Выдерживать на такой стуже больше нескольких минут было невозможно. Почти у всех были отморожены лица, ноги и руки. Смутная надежда заставляла людей переносить муки и скалывать лед. Но скоро они бросили работу и прижимались к горячей трубе. Но обмороженные люди не чувствовали жара.

И сонная апатия охватила этих мучеников.

“Заснуть! Заснуть!”

Погревшись несколько минут в каюте, Никифор Андреевич был с матросами и работал с ними. Он приказывал, просил, умолял изнемогших людей не спать и взять топоры и ломы, и, сам потерявший надежду, обнадеживал, что шторм стихнет и пароход отстоится.

И многие не слушали.

“Зачем?” – угрюмо говорили матросы и шли вниз...

Только Антон и два младшие помощника капитана, обмороженные, все-таки с каким-то остервенением отчаяния, уже едва владея руками, продолжали работать.

Но и они понимали, что работают напрасно. Что могут они сделать?

Антон все-таки напрягал все свои молодые силы.

Ведь ему так хотелось жить и так много обещала жизнь вместе с Матрешей!

И Антон в бешенстве рубил лед топором, пока не обессилел и тут же упал, готовый заснуть.

Никифор Андреевич немедленно велел отнести его на кубрик.

Там Антон бросился в койку. Он не чувствовал боли отмороженных ног и, внезапно охваченный равнодушием ко всему – даже к смерти, заснул как убитый.

Никто более не работал. Никто уж не надеялся. Всякий думал только о тепле и о сне.

И, добравшись до тепла, многие молились и плакали.

Никифор Андреевич дремал в своей каюте на мостике тревожной, прерывистой дремотой. Каждую минуту он в ужасе просыпался, вскакивал и выбегал.

Шторм ревел. Пароход все больше и больше покрывался льдом.

Только вахтенный и рулевой на мостике и двое часовых на палубе уныло бодрствовали.

“Через час, другой... смерть!” – мысленно проговорил Никифор Андреевич.

Уж он перестрадал предсмертные муки, простился заочно с семьей и теперь с покорным отчаянием ждал смерти.

Он как будто уже не жилец... И ему безразлично, пожалеют ли его близкие и что скажет начальство.

Мещанин из Новороссийска громко читал молитвы.

Вахтенный помощник вдруг зарыдал.

Капитан не чувствовал сожаления. И, изнеможенный, усталый от всей этой каторжной жизни, понятой им только теперь, – проговорил почти что с мольбой:
– Скорее бы смерть!

XI

Забрезжило утро.

Осунувшийся за эту ночь и казавшийся дряхлым стариком, Никифор Андреевич недоверчиво встретил надежду, охватившую измученное сердце, словно приговоренный к смерти весть о помиловании.

Море, казалось, миловало, и надежда крепла в сердце капитана. И в голове его проносились мысли о жизни, когда он смотрел вокруг.

Шторм еще ревел, но уже обессиленно. Волны вздымались, но не с прежней мощью и злобой напали на изнемогший “Баклан”. Он уж не метался. Хоть качка и трепала его, но волны не вкатывались и только обдавали брызгами. За ночь весь пароход обледел, и глыбы высились над кормою, бортами и носом, и борты хоть и понизились, но не были еще совсем близки к воде.

Еще можно уйти от могилы.

И капитан, умиленный и оживший, горячо прошептал несколько благодарных молитвенных слов и приказал разбудить матросов и сниматься с якоря.

Все вышли. Многие еле двигались. Антон, более других обмороженный, поднялся на мостик к рулю, и лицо его дышало смелостью и верой в жизнь.

Все ожили. Волны не заливали.

Скоро якорь был поднят.

И, чтобы воспользоваться попутным штормом, капитан приказал снова взять курс на Батум и идти самым полным ходом.

К вечеру моряки обнажили головы и, радостные, крестились. Перекрестился счастливый и Никифор Андреевич.

Пароход, почти касавшийся бортами воды, уже не боялся шторма и входил в Батумскую гавань.

Еще минута – и “Баклан”, представлявший собой какую-то ледяную массу, ошвартовался.

XII

Агент поздравлял капитана с счастливым приходом. Никифор Андреевич просил немедленно отправить обмороженных в госпиталь. Со всеми больными простился и обещал завтра же навестить их.

Чуть не обезумевший от восторга, мещанин из Новороссийска оставил пароход. Крепко пожали руку капитану два черкеса и ушли. Они не захотели в госпиталь, хотя у них и были отморожены руки.

Никифор Андреевич, снова уже трусивший начальства, не переодеваясь, написал в главную контору в Одессу следующую телеграмму:

“Не мог выполнить рейса и прибыл благополучно в Батум. Принужден был выбросить 10.000 пудов груза, чтобы облегчить пароход во время шторма. Подробности донесением”.

Затем, чтобы успокоить семью, Никифор Андреевич написал телеграмму жене о прибытии в Батум. Отправив телеграмму в город, капитан пошел полечить свои отмороженные пальцы на ногах и щеки, вымыться и переодеться.

Через десять минут Никифор Андреевич, обрадованный, что не сделался калекой и может быть кормильцем семьи, сидел в своей теплой натопленной

каюте за стаканом горячего чая, сильно разбавленного коньяком для предупреждения простуды.

Когда к нему вошел агент, Никифор Андреевич первым делом просил прислать людей для очистки парохода от льда и, словно бы виноватый за убыток обществу, застенчиво и лаконически сказал:

– Никак нельзя было не выбросить груза... Прихватило штормом... Да-с!..

Несмотря на просьбы агента рассказать подробности о том, как Никифор Андреевич штормовал и что он испытывал, капитан, словно бы стыдясь рассказывать о своих испытаниях, ничего интересного не рассказал и только проговорил:

– Как видите... слава богу... Вот только груз выбросили, и матросы померзли... Особенно Антон, рулевой...

Не обмолвился Никифор Андреевич агенту и о том, что за эту ужасную ночь еще поседел, осунулся и обморозил порядочно-таки ноги, но зато просил агента обратить внимание директора, что только крайность заставила его выбросить груз, и прибавил:

– Не взыщут за это? Не обвинят?.. Как вы думаете?

Агент уверял Никифора Андреевича, что никто и не обвинит такого отличного капитана, который спас пароход... Напротив...

– Ведь какой ледяной шторм... Ужасный! – приба-

вил агент и, не добившись от капитана ничего любопытного, ушел, находя, что Никифор Андреевич глуп и нестерпимо скучен.

XIII

Все эти дни Матреша не находила места. Тоскующая, она немало проливала слез по ночам, мучилась думами об Антоне и считала себя бесконечно виноватой.

Прошло два дня, прошел третий... Матреша по два раза в день бегала в агентство справляться о “Баклане”, и по-прежнему ей отвечали незнанием.

А шторм продолжался. Ни один пароход не приходил в Ялту. Рассказывали, что рейсы прекращены...

И Матреша возвращалась домой с мола еще более расстроенная и тоскливая.

Напрасно и Ада Борисовна и некоторые жильцы, недовольные, что вид Матрешы “наводит скуку”, утешали обычными банальными фразами, прибавляя к ним, что Матреша еще молода и такая хорошенькая.

Матреша угрюмо отмалчивалась или просила оставить ее в покое.

Особенно обрывала она хозяйку, когда та начинала говорить по “душе” и слащавым голосом утешать о силе характера и терпения.

Наконец, на четвертый день после этого ужаса неизвестности, Матреша получила сильно запоздавшую телеграмму:

“Вместо Керчи попали в Батум. Немного обморозил ноги и нахожусь в госпитале. Скоро на поправку и буду к дорогой супруге”.

Матреша от радости смеялась и плакала. И решила ехать к Антону в Батум с первым же пароходом...

“Бедный, ведь обмороженный... Около него должна быть... И скорее, скорее!”

В тот же день Матреша справилась в агентствах, когда пойдет пароход в Батум. Ей ответили, что через три дня, если шторм стихнет, пароход придет из Севастополя в кавказский рейс.

И Матреша в тот же вечер, решительная и счастливая, что шторм затихал, пошла к Аде Борисовне просить расчета.

Ада Борисовна читала французский роман, наслаждаясь описанием любви виконта и графини на Ривьере⁶, когда постучали в дверь.

– Войдите!..

– Я, барышня, к вам по делу...

– Что такое?.. Ну, ты теперь прежняя Матреша... Веселая, довольная... Надеюсь, больше уж нервничать и огорчать меня не будешь?

– Никогда больше не огорчу вас, барышня! – насмешливо играя глазами, проговорила Матреша.

⁶ Ривьера – или Лазурный берег – курортный район на французском побережье Средиземного моря.

И, принимая серьезный вид, прибавила решительным и вызывающим тоном:

– Позвольте расчет, барышня.

– Как расчет?.. Зачем?.. Ты собираешься уходить от меня? – растерянно и испуганно промолвила Ада Борисовна, не предполагавшая, что Матреша оставит место теперь.

– Через три дня уйду... Потрудитесь найти себе горничную...

– Да как же я в три дня... Как же тебе не совестно так поступать со мной... Ведь это что же? Я так обращалась с тобой... У тебя такое выгодное место... И зачем же тебе уходить... Или тебя переманивают?..

– Я к мужу еду... Извольте дать расчет...

– Но хоть подожди, пока я не найду приличной горничной... Ведь так не поступают, Матреша... Ты меня подводишь... Я не одна... У меня жильцы... Кажется, могла бы... Ну, я тебя прошу, Матреша... Остайся!

– Не могу, барышня. И осталась бы, да Антон болен.

– Антон!?. Может подождать твой Антон... Не серьезно он больной... Целый год без него жила и вдруг...

– Пожалуйста расчет, барышня! – упорно повторила Матреша.

– Но ты не смеешь уйти, пока я не найму другой горничной! – вдруг меняя тон, сказала Ада Борисовна.

– Уйду... Смею!..

– Я буду жаловаться наконец!

– Кому угодно, барышня... Мне наплевать... Через три дня уеду!

– Бессовестная... Неблагодарная!..

– Вы-то стыдливая... Вы-то благодарная! – с злой насмешкой ответила Матреша.

– Вон!.. Вон уйди... дерзкая!.. – вспылила Ада Борисовна...

– И завтра же уйду... А вы не ругайтесь... Недаром уксусная... Никто не влюбляется, так вы и злющая! – бросила скороговоркой Матреша и вышла, хлопнув дверью.

Ада Борисовна заплакала.

– Господи, какая дерзкая и безнравственная эта бесчувственная тварь! – прошептала Ада Борисовна.

Через три дня шторма уж не было. Море успокоилось, и погода была прелестная.

Пароход пришел в Ялту и в девять часов вечера ушел в рейс. Матреша уже была на пароходе в восемь часов и везла с собой две больших корзины с вещами, и на груди был зашит билет ссудосберегательной кассы.

Через сутки пароход благополучно пришел в Батум, и Матреша, остановившись в гостинице, в одиннадцатом часу вечера была в госпитале.

Антон еще не спал, когда сторож ввел Матрешу в палату, где лежал уже поправлявшийся матрос.

– Матрешка! – едва выговорил Антон, увидав Матрешу.

А Матреша припала к лицу Антона и, плача от радости, говорила:

– Всегда теперь будем вместе жить... Всегда, желанный мой...